DOI 10.18522/2415-8852-2022-2-38-49

УДК 930.1+7.01

ЗАМЕТКА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ФРАГМЕНТА



Александр Викторович Марков

доктор филологических наук, профессор факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия)

e-mail: markovius@gmail.com ORCID: 0000-0001-6874-1073 А трансформаций субъекта в ходе исторического опыта, фрагмент помещен прежде всего в перспективу рецепции. Поэтому дискуссии о фрагменте исчерпываются тем, насколько филологический или искусствоведческий режим восприятия фрагмента блокирует или поддерживает социально-политическое действие, имеющее в виду в том числе фрагменты как свидетельства. В статье предлагается с опорой на несколько античных узусов версия неотъемлемых свойств фрагмента. Как ключевое понятие рассматривается парресия, подразумевающая не только особую функцию речи, но и изменение отношений между принципалом и агентом, делегирование принципалу права толковать чужую речь, что и легитимирует фрагмент как текстовое построение, нуждающееся в толковании и получающее толкование. Доказывается, что (1) фрагмент напрямую указывает на смертность парресиаста, тем самым противостоя перформативному и вообще театрализованному пониманию бессмертия, (2) фрагмент представляет собой своеобразный «вирус», поражающий риторику там, где она пытается дать убедительную картину происходящего, соперничающую с философской картиной, (3) фрагмент как предмет специального филологического интереса имеет дело с одновременной инфляцией философии и риторики, и социально-политическое действие оказывается действием уже в условиях этой инфляции.

Кпючевые слова: античная литература, спор риторики и философии, конфликт интерпретаций, неполнота высказывания, артефакт, парресия, перформативность, фрагмент

Фрагмент как явление литературы ставит проблему, схожую с парадоксом «кучи», но располагающуюся в других координатах. Литературный фрагмент уподобляется пластическому, буквально «куску» или «части», но что считать фрагментом в области архитектуры, скульптуры или монументальной живописи? Следует ли признать фрагментом статую с отбитым носом, или же фрагментом будет только отбитый нос? Является ли Афродита Милосская фрагментом начальной статуи?

Сразу следует оговорить, как следует понимать отношение фрагмента и целого. В бытовом употреблении слово «целое» двусмысленно: так мы можем называть как вещь, не утратившую никакой части (например, когда мы говорим о целой сумме, полученной за работу и еще не потраченной), так и вещь, утратившую часть и выглядящую как целое в сравнении с этой частью - в этом смысле и Афродита Милосская рассматривается как целое. Мы предлагаем понимать целое только в первом смысле, имея в виду то, что целое во втором смысле всегда восполняется до целого в первом смысле, благодаря представлениям, размышлениям, обычаям использования. В таком случае фрагмент как явление позволяет со стороны посмотреть на эти обычаи размышлять и использовать, с необходимой остротой отнестись к тому, что иначе остается совершенной инерцией обращения с вещами.

В отличие от таких понятий, как руина или травма, по которым существует обширная литература, понятие фрагмента явно не получило того внимания, которого заслуживает данное явление, - раз без упоминания о нем не обойдется ни одна история литературы, история искусства или история философии. Мы предполагаем, что такое невнимание к фрагменту как к узлу проблем субъективности в культуре связано с особенностями фигуры парресиаста – человека, пользующегося парресией, свободой слова, и потому способного переучреждать порядки социальных отношений. Парресия, как показано в недавно изданных лекциях Фуко [Foucault], представляет собой систему делегирования - право свободно говорить принадлежит богам, но если один человек делегирует другому это право, то оно имеет в виду богоподобие парресиаста, несмотря на то, что вроде бы его обязал свободно говорить делегировавший. Просто парресиаст оказывается властен над самой ситуацией, вбирает ситуацию делегирования в ту рамку интерпретации, которую выстраивает свободная речь, и тем самым и оказывается тем, кто может спорить с богами или судьбой. По нашему предположению, если травма и руина имеют в виду парресию как всеобщий закон, как возможность потенциально для всех стать парресиастами, хотя бы прямо обозначив свое отношение к прошлому, то парресия в случае фрагмента имеет в виду действие делегирующего (принципала), а не того, кто принял делегирование (агента). Такое деятельное распоряжение фрагментом со стороны принципала, даже если этот фрагмент создан не им, мы знаем на бытовом уровне, когда имеем дело с любыми цитатами авторитетных людей или приписанных авторитетным людям. Например, цитата Ленина «Учиться, учиться и еще раз учиться» вырвана из контекста, и не Лениным: для принимающих эту цитату было существенно, что Ленин наставляет учиться как однопартийцев, так и школьников. Тогда получается, что Ленин смело распоряжается и бытованием фрагмента, и его смыслом, который оказывается обращен ко всем его советским наследникам как агентам его дела. Ниже мы покажем, как работает эта смещенная парресия в споре философии и риторики, но сначала укажем на одно противоречие в интерпретации самого статуса фрагмента как явления, которое говорит, что это действие принципала не до конца проясняемо и как философское, и как риторическое.

По-прежнему ключевой работой по вопросу остается труд Л. Нохлин «Тело, рассыпавшееся на осколки: фрагмент как метафора современности» [Nochlin]. Нохлин настаивает на революционном, трансгрессивном смысле фрагмента, который уже не может быть сведен к руине или какому-либо еще результату раскопок, но всегда требует участия человеческой воли. Артефакт, какова бы

ни была степень произошедшего с ним разрушения, можно просто найти и выставить, тогда как фрагмент всегда несет на себе след учредительной воли, требующей признать именно этот осколок или именно эту часть целого заслуживающим созерцания предметом. Тем самым получается, что фрагмент идет навстречу ненасытному взгляду современности – и для Нохлин моментом перехода от ностальгии к конструированию становится Французская революция: она оживляет фрагмент, выводя его из сумрака сохранения и академического знаточества, показывая, как именно он может быть представлен. С момента революции быть для фрагмента – это быть видимым, и не так существенно, когда фрагмент был признан фрагментом; важно лишь то, когда он был выставлен на всеобщее обозрение. Тем самым парресия принципала оказывается полностью поглощена режимами видимости этого принципала, коль скоро принципал в конце концов сам хочет, чтобы его действия и действия его адептов были представлены как непреложные, и в этом смысле такая парресия фрагмента противоположна перформативности как возникновению представленного прямо на глазах у зрителя, где мы признаем условность видимого и вместе с тем принимаем то, что парресия уже делегирована и спор людей и богов уже идет, как в классической трагедии, потому и принимаем правдоподобное за правду. Вместе с тем, заметим, что есть такие



перформативные искусства, как опера, которая в XIX в., собирая политические элиты, создавала все необходимые режимы политической видимости дискуссий, вложенных в оперное произведение.

Г. Мост в своем эссе «О фрагментах» [Most] аккуратно пытается оспорить все положения Нохлин. Фрагмент нужен не покоряющему пространство и время взгляду эпохи современности, а только специфически филологическому взгляду, от античности до наших дней, который и может находить во фрагменте данные для дальнейших утверждений: по когтю узнавать льва, коллекционировать идеи, стоящие за частично дошедшим, и тем конструировать единство прошлого и настоящего. Иначе говоря, фрагмент для специалиста - след, позволяющий судить, откуда идет и куда движется культура, а публика присоединяется к рассмотрению фрагмента только тогда, когда уже приобщилась к указанному филологом движению культуры. Фрагмент кажется, например, выражением пластического ума, или, наоборот, напряженной выразительности, и значит, публика воспринимает фрагменты потому, что интеллектуалы и гуманитарии как принципалы делегирования создали некоторую сетку, в которой пластичность, порывистость, импровизация или случайность что-то значат внутри других культурных значений. В таком случае единственное, что дала Французская революция, - это норму вкуса в кантовском смысле, возможность вместе пережить одинаковые суждения о происходящем, не дожидаясь санкции специалиста. Тогда получается, что норма вкуса полностью вытеснила риторическую норму, тогда как на уровне филологической рецепции фрагмента принимаются все режимы делегирования смысла: исследователь видит и что имел в виду создатель фрагмента или мнимый создатель, и что имеет в виду читатель фрагмента.

Но в таком случае оказывается, что именно на уровне интерпретации и профессиональной рецепции фрагмента действует то самое перформативное правдоподобие, тогда как публика пытается подвергнуть фрагмент начальной философской проверке, рассмотреть просто его уместность. Такую ситуацию можно сравнить с тем, как принимаются великие философские максимы, вроде «Мыслю, следовательно существую» (Декарт) или «Все действительное разумно» (Гегель): профессиональная интерпретация показывает, что бытовое понимание, следующее за буквальной грамматикой, просто нелепо, невозможно отождествить мысль и бытие или считать действительное и разумное полностью совпадающими множествами - тогда как правильнее говорить о достаточном основании бытия и мышления или о достаточной правомочности действительности и разума. И как раз публика, разумеется, не доходящая до названных нелепостей в интерпретации, оказывается таким начальным философским субъектом. Во всяком случае, к этому нас подводят новейшие специальные исследования, показывающие, как на переходе к новому времени спор философии и риторики был вписан в более широкий спор нормы истины и нормы публичности [Raylor].

Разрешить такой клубок противоречий мы можем только одним способом: показать, как само понятие фрагмента функционировало в античном споре философии и риторики. Не нужно даже напоминать общеизвестные факты: философия претендовала на истину, тогда как риторика - на универсальность, в том числе универсальный охват социально-политических проблем. Философ в этом смысле ставит под сомнение само собой разумеющееся, и как раз по нашей гипотезе, инфляция философских фрагментов, изречений философов, только и позволила философии начать разговаривать с риторами на равных: не как специалистам с практическими деятелями, но как людям, создавшим своими цитатами столь же всеохватное поле парресии.

Мы предполагаем, что понятие фрагмента было искусственно сконструировано, в политических целях, но далее было принято как само собой разумеющееся. Так, образцом такого конструирования было знаменитое дело гермокопидов в Афинах в 415 г. до н. э.: накануне сицилийской экспедиции афинского флота неизвестные повредили гермы, священные изображения, и политические

противники Алкивиада воспользовались этим, чтобы обвинить его в кощунстве, хотя Алкивиад возглавлял экспедицию и поэтому меньше всего был заинтересован в дурных предзнаменованиях. Особенность этого процесса в том, что ни риторика, ни здравый смысл не могли создать целостную картину происходящего: подозрения только усиливали фрагментарное видение произошедшего (например, что Алкивиад и компания склонны к пьяным выходкам, значит, точно сделали они), и любая попытка риторически выстроить целостную картину, где точно понятны механизмы событий, оказывалась еще более фрагментарной - выяснялось, что просто работает некоторая злонамеренность, а действия отдельных лиц оказываются лишь случайными частными приложениями этой злонамеренности. Тем самым фрагментарность и фрагментация, распространяясь как вирус, в буквальном смысле подорвали полномочия риторики, и далее следующим шагом уже могла быть только своеобразная инфляция высказываний, когда вопрос о том, кто кому делегирует парресию, уступает место вопросу о том, как всеобщая парресия коррелирует со всеобщим благом и как возможна передача каких-либо еще полномочий, например, организаторских, административных или финансовых. Так и произошло, причем на сцене, что вполне соответствует своеобразному перформативному повороту в новейшем изучении отношений философии и риторики [Garver].

Через несколько лет Аристофан создал первую редакцию комедии «Плутос», но нам известна вторая, переработанная редакция, поставленная в 388 г. до н. э. Это уже не политическая, а бытовая комедия, отказывающаяся от хора как источника общего суждения о политических делах, а настаивающая на том, что сложные бытовые коллизии рано или поздно разрешатся, иначе говоря, заменяющая парресию некоторым числом практик, имеющих в виду общий здравый смысл, стоящий за разнородными экономическими и социальными транзакциями. Вся эта комедия дискредитирует риторику, которая оказывается не просто продажным искусством, но искусством, зависящим от качества продажи, от того, что эта продажа производится за все дешевеющую монету. Блепсидем предупреждает внезапно разбогатевшего Хремила, что его могут обвинить как в ограблении частного лица, так и в ограблении святилища, поэтому нужно сделать так, чтобы никто из ораторов не выступал против него, чтобы никто не злоупотребил парресией после того, как она делегируема уже толпой, а не отдельными лицами.

Хотя по логике этой комедии всякое внезапное богатство является лишь результатом слепоты Плутоса и Пения, бедность, столь же необходима, чтобы добродетельные люди трудились, но уже здесь заложена эта идея инфляции – богатства много, и если все будут вознаграждены, то прекратится производительный труд. Соответственно, и коллизия неправильного богатства в том, что нужно не просто согласиться с фрагментированием общего богатства, но в том, что и речь подвергается инфляции, и риторов невозможно подкупить и заставить проповедовать избыток, положительное содержание богатства. Можно только использовать деньги для того, чтобы никакого дела о возможном святотатстве не возникло. При этом простая раздача их уже фрагментирует их, а раздать их ораторам - это раздать как раз монеты: "тò στόμ' ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ἡητόρων" (1. 377) [Aristophanes] - заткнув уста риторов монетами. Слово κέρμα и означает буквально 'фрагмент, кусок или обрезок металла', который и оказывается платежным средством, мобильным средством. В конце концов, вернуть какой-то фрагмент в храм – единственный способ избежать обвинений в кощунстве и неправедном обогащении и тем самым передать все богам и уже выяснять отношения с богами лицом к лицу, не фрагментарно. Тем самым сакрализация фрагмента, в том числе знакомых всем нам вырванных из контекста или ложных цитат, и оказывается попыткой сразу же заткнуть рот тем риторам, которые и ведут игру, следуя самым грубым подозрениям толпы об уже произошедших транзакциях. Они пытаются выглядеть законно, подозревая беззаконие за любыми привилегиями, в том числе интеллектуальными, тогда как фрагмент показывает, что сама по себе их подозревающая законность является лишь нарочитой позицией, недобросовестным перформансом, которому можно противопоставить любую фрагментарность, лишь бы она не была подвергнута инфляции до конца.

Но как именно возможно избежать такой инфляции? На это дает ответ греческая культура как раз трагической эпохи, утверждая смертность как единственное основание сказать, что есть фрагменты жизни, которые не могут быть забыты и называние которых поэтому всегда прямолинейно, а не косвенно. У Эсхила в «Агамемноне» пленница Кассандра после множества темных пророчеств, наконец, устанавливает соответствие, что вслед за Троей погибнет она сама, что как от города остались только тени, так и она пойдет в царство теней, в царство, где только неясные воспоминания - тогда вдруг хор признает, что она говорит так, что понятно даже детям. Дело в том, что здесь она говорит уже не о том, как работает рок, но что остается после этой работы, а именно, возможность установить только родовую связь, что она питомица Трои, ее ребенок, гибнет как ребенок. Здесь она уже выступает не как агент рока, но как своеобразный мыслитель, способный показать корреляцию гибелей, а значит, достаточные основания речи о гибели, как есть достаточные основания утверждения бытия, мышления, действительности и разумности, о чем мы

говорили выше. Хор ей отвечает словами, сложными для перевода:

τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω; νεόγονος ἂν ἀΐων μάθοι. πέπληγμαι δ' ὑπαὶ δάκει φοινίφ δυσαλγεῖ τύχα μινυρὰ κακὰ θρεομένας, θραύματ' ἐμοὶ κλύειν.

Итак, теперь ты пророчествуешь совершенно прямолинейной речью,

так, что новоначальный возрастом сможет это понять.

Я уязвлена чудовищным укусом,

и крайне болезненно действует крик, злобно (печально) разносящийся,

так что разрывы мне слышны.

(l. 1162–1166) [Aeschylus]. (Перевод наш. – А. М.)

Разрывы, поломки, травмы (так это можно перевести) – здесь это не просто надрывающийся голос. Кассандра плачет так же, как плачет младенец, как плачет смертный, и сказать прямолинейной речью – это перестать говорить на языке богов и заявить о собственной смертности. Поэтому перед нами вовсе не травма Кассандры или ее голоса, но именно фрагмент: ее жизнь оказывается только полем, где разыгрываются обида, злоба, месть, все то, что испытывает человек, обреченный на смерть. Тогда как смерть и оказывается толкуемым фрагментом, тем осколком, который остается и от Трои, и от жизни

Кассандры, который и представляет ее не просто как пророчицу, а как субъекта речи. В этом смысле позиция Кассандры, при всей близости и проблематике руины, и проблематике травмы, никак не сводится ни к тому, ни к другому, ни к ностальгии, ни к работе боли или скорби. Это позиция, в которой она не находится на перекрестке различных эмоциональных действий, но сама оказывается тем агентом фрагмента, по отношению к которому зрители оказываются принципалами, способными вынести суждение о причинах гибели Трои. До этого ее пророчества были как раз действием скорби, общей человеческой доли смертных, здесь они становятся ясными потому, что сама эта смертная доля конструируется как ряд эпизодов, делающих парресию общим достоянием.

Эта же речь о ломке и расколе стала операциональной для начальных археологических раскопок, когда невольно найденные фрагменты говорят о смертности там, где мы ожидаем бессмертия. Павсаний в «Описании Эллады» (Liber 5, 20) пишет:

"συνέβη δὲ καὶ ἄλλο κατ' ἐμὲ τοιόνδε. ἀνὴρ βουλῆς τῆς Ῥωμαίων ἀνείλετο Ὀλυμπικὴν νίκην: ἐθέλων δὲ ὑπολιπέσθαι τῆς νίκης ὑπόμνημα χαλκῆν εἰκόνα σὺν ἐπιγράμματι, ὤρυσσεν ἐς ποίησιν βάθρου: καὶ ὡς ἐγένετο ἐγγύτατα τὸ ὄρυγμα αὐτῷ τῆς τοῦ Οἰνομάου κίονος, ἐνταῦθα εὕρισκον οἱ ὀρύσσοντες καὶ ὅπλων καὶ χαλινῶν καὶ ψαλίων θραύματα. ταῦτα μὲν δὴ αὐτὸς ἑώρων ὀρυσσόμενα" [Pausaniae: 65].

«А при мне случилось вот еще что. Один из римских сенаторов одержал победу в Олимпии; желая в воспоминание своей победы оставить славным памятником свое изображение из меди и надпись на нем, он велел копать яму, и так как яма была очень близко от столба Эномая, то копавшие нашли здесь обломки оружия, уздечек и цепочек для мундштуков. Я сам видел, как все это извлекали оттуда» [Павсаний: 40].

Павсаний заявляет о себе как о свидетеле раскопок, посетившем строительную площадку, при этом он может объяснить, почему именно здесь найдены эти обломки (фрагменты), тогда как остальные просто находят эти фрагменты, ничего не объясняя, и так как эти фрагменты обретены внутри святилища, они не могут их повредить или выбросить. Таким образом, фрагментарность очерчивает область священного, священных решений, но не заранее, а прямо при нахождении – каждый фрагмент и знаменует, что здесь присутствие божества есть, и пока мы копаем, мы поддерживаем это присутствие божества, отдаем хотя бы одну монету в храм божества, если вспомнить перспективу опасности аристофановских сутяг и доносчиков. Здесь один шаг до романтического понимания фрагмента как чувственно воспринимаемой вещи, в которой мы видим обломок какого-то исторического комплекса вещей и которая поэтому и поддерживает общее присутствие, загадочное, того вдохновения, каковое и движет историю. Но здесь это отсутствие инфляции смыслов поддерживается как правдоподобное, пока мы продолжаем действовать правдиво, однозначно определять, что это артефакты. Только сам Павсаний может своим рассказом немного запустить инфляцию, просто чтобы мы увидели, что другие агенты, проводившие раскопки в святилище, этой инфляции не запускали. Так правдоподобие оказывается полностью отодвинуто в порядок прошлых событий, тогда как правдивость Павсания дает философии и риторике хотя бы немного порассуждать темно, забыв хотя бы на миг о границах святилища и о границах смертности.

Таким образом, отношения философии и риторики вокруг фрагмента – это не спор за обладание фрагментом, а подвижное равновесие участников инфляции смыслов там, где есть способы вернуть фрагмент в храм, стать тем принципалом, для которого как деятели прошлого, так и те, кто выносили суждения об этих деятелях (сутяги Аристофана или археологи Павсания), оказываются агентами действия. Именно им поручено работать с фрагментом, тогда как философия и риторика равно выходят из-под чар фрагмента, из области чарующего правдоподобия и распространения фрагмента как вируса или как подвергающихся инфляции монет, и тем самым оказываются в мире, где нет инфляции смыслов. Есть только корреляция парресии как уже навсегда делегированной и вкуса как уже сбывшегося суждения, и модель ясного пророчества Кассандры о смертности, зависящей уже не от рока, а от событийности раскола и повреждения, действительно оказалась моделью для развития всей новоевропейской философии. В этом смысле исследования руин и травмы часто оказываются на стороне темной Кассандры, а исследования фрагмента могут оказаться на стороне Кассандры ясной.

Литература

Павсаний. Описание Эллады. В 2 тт. / пер. с древнегреч. С.П. Кондратьева; под ред. Е.В. Никитюк; отв. ред. проф. Э.Д. Фролов. Т. 2. СПб.: Алетейя, 1996.

Aeschylus (1926). Agamemnon. Libation-Beares. Eumenides. Fragments in 2 vols (H.W. Smyth, Trans.) (Vol. 2). London: William Heinemann; New York: G.P. Putnam's Sons.

Aristophanes (1906). Plutus (F.W. Hall, & W.M. Geldart, Eds.). Oxford: Clarendon Press.

Foucault, M. (2016). Discours et vérité: Précédé de La parrêsia (Philosophie Du Present). Paris: Vrin.

Garver, E. (2021). Philosophy, rhetoric, and civic education in Aristotle and Isocrates. In T. Poulakos, & D. Depew (Eds.), Isocrates and civic education. Austin: University of Texas Press, 186–214.

Most, G. W. (2009). On fragments. In W. Tronzo (Ed.), The fragment: an incomplete history. Los Angeles: Getty Research Institute, 9–21.



Nochlin, L. (1994). The body in pieces: the fragment as a metaphor of modernity. New York: Thames and Hudson.

Pausaniae (1903). Graeciae descriptio in 3 vols. (Vol. 2). Leipzig: Teubner.

Raylor, T. (2018). Philosophy, rhetoric, and Thomas Hobbes. New York; London: Oxford University Press.

References

Aeschylus (1926). *Agamemnon. Libation-Beares. Eumenides. Fragments in 2 vols* (H.W. Smyth, Trans.) (Vol. 2). London: William Heinemann; New York: G.P. Putnam's Sons.

Aristophanes (1906). *Plutus* (F.W. Hall, & W.M. Geldart, Eds.). Oxford: Clarendon Press.

Foucault, M. (2016). *Discours et vérité: Précédé de La parrêsia* (Philosophie Du Present) [«Discourse and Truth» and «Parresia»]. Paris: Vrin.

Garver, E. (2021). Philosophy, rhetoric, and civic education in Aristotle and Isocrates. In T.

Poulakos, & D. Depew (Eds.), *Isocrates and civic education*. Austin: University of Texas Press, 186–214.

Most, G. W. (2009). On fragments. In W. Tronzo (Ed.), *The fragment: an incomplete history*. Los Angeles: Getty Research Institute, 9–21.

Nochlin, L. (1994). *The body in pieces: the fragment as a metaphor of modernity.* New York: Thames and Hudson.

Pausaniae (1903). *Graeciae descriptio* [Description of Greece] in 3 vols. (Vol. 2). Leipzig: Teubner.

Pausanias. (1996). *Opisanie Ellady* [Description of Greece] (S.P. Kondratyev, Trans.) (E.V. Nikityuk, & E.D. Frolov, Eds.). Saint-Petersburg: Aleteiya.

Raylor, T. (2018). *Philosophy, rhetoric, and Thomas Hobbes*. New York; London: Oxford University Press.

Для цитирования: Марков, А.В. Заметка к интеллектуальной теории фрагмента // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2022. Т. 7. \mathbb{N}^{0} 2. С. 38–49. DOI: 10.18522/2415-8852-2022-2-38-49

For citation: Markov, A.V. To the intellectual history of fragment. *Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies*, 7 (2), 38–49. DOI: 10.18522/2415-8852-2022-2-38-49

ON THE INTELLECTUAL HISTORY OF FRAGMENT

Alexander V. Markov, Dr. Habil., Professor, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia); e-mail: markovius@gmail.com

As bestract. Unlike 'ruin' or 'trauma', the interpretation of which implies an established framework for the transformation of the subject in the course of historical experience, the 'fragment' is placed primarily in the perspective of reception. Therefore, discussions about the fragment are limited to the extent to which the philological or art history mode of perception of the fragment blocks or supports the socio-political action, which also includes fragments as evidence. Parrhesia is seen as a key concept, implying not only the special function of speech, but also a change in the relationship between principal and agent, delegating to the principal the right to interpret another's speech, which legitimizes the fragment as a textual construction in need of interpretation and receiving an interpretation. Based on several ancient usages, I propose a version of the inalienable properties of the fragment. I prove that (1) the fragment directly points to the mortality of the parrhesiast, thereby opposing the performative and generally theatrical understanding of immortality, (2) the fragment is a kind of intellectual virus that infects rhetoric where it tries to give a convincing picture of what is happening, competing with the philosophical one, (3) the fragment as a subject of special philological interest deals with the simultaneous inflation of philosophy and rhetoric, and socio-political action turns out to be action already under the pressure of this inflation.

Key words: ancient literature, rhetoric and philosophy, conflict of interpretations, incompleteness of utterance, artifact, parrhesia, performativity, fragment

